



Рядом с мазанкой рыбака  
моря нету, а есть пока  
церковь, ярмарка, морг, погост.  
В руце Господа праха горсть.

Рядом с домиком лесника  
нету леса, а есть пока  
свалка, баня, кабак, тюрьма.  
Дальше — вечное, дальше — тьма.

Рядом с башнею дурака  
нет чудесных полей пока,  
но зато он стада пасет  
с августейших своих высот.

Рядом с хижиной мудреца —  
век невежества, раб и царь  
учат жизни его, а тот  
им о смерти зачем-то врет.

Все мы там, в глубине сердец —  
раб и цезарь, дурак, мудрец,  
и лесник еще, и рыбак,  
и живем себе как-то так...



Там, где призрачно, там, где тонко,  
все не рвется никак во мне.  
Взгляд украденного ребенка  
у предутренной тьмы в окне.  
Память вновь размотает пряжу —

что ни прядь, то вопрос, вопрос:  
«Чьих ты будешь небес, пропажа?  
Где слепящих своих стрекоз  
обронила в кромешной пляске,  
в разоренной какой стране»?  
И мурашками холод спасский,  
как от исповеди, по спине.

Ветер голосом бесноватым  
воет реквием, роя тьму.  
«Двоюродивым будешь братом,  
Амадеус!», — шепчу ему.  
Дел заплечных небесный Мастер  
стылой вечности точит сталь.  
Жизнь — мгновенная проба насмерть,  
но без права начать с листа,  
чтобы жаждой своей пытаться  
вновь наполнить пустой стакан,  
чтоб опять и опять сквозь пальцы  
белый свет утекал в туман.

Зыбко, призрачно, тонко, топко...  
Только, что это? — там, в окне,  
просветлевшем в мгновенье ока,  
ослепительный сыплет снег.



Выбираешь февраль с бесноватой волынкой метелей,  
немотою снегов — неизбывной, глубокой как страх  
перед празднеством смерти, с дымящим на кладбищах елей  
миражом Рождества, с мчащей на оголтелых ветрах  
кавалерией времени — воинством неумолимым.  
От него не спасись. Белый свет разметал снеговой —  
то пропавшая без вести выюжит эпоха, чье имя  
ты почти позабыл, опоздавши стать воздухом в ней.

Выбираешь пути, чтоб торить их по топкому снегу,  
от начала начал, столько, сколько еще проживешь,  
лишь бы дальше от мест, где хула и хвала — все за деньги,  
как война или мир, только жизнь — ни за грош, ни за грош.  
Тучен град Вавилон, величавы цари, но в конце им  
умирать в кандалах срама, немощи, скорби, тоски.  
И бежишь от волхвов, а волхвы все трясут кадуцеем,  
в кровь стирая язык, бредя небом своим плутовским.

Выбираешь «прости», и «прощай» выбираешь, а значит,  
выбираешь «люблю». И твоя непогожая речь

замирает в тебе, изнутри тебя холодом нянчит,  
и лелеет все то, что уже не сумел ты сберечь.  
Все разборчивей зов голосящих взаллеб колоколен,  
что наотмашь зовут в затрапезной родимой глуши.  
Спит отечество, но бродит лакомый дух алкоголя  
вместе с духом святым, ибо здесь нет покоя лишь им.

Истончившийся холст в Лету канувших тысячелетий  
все полощет февраль, и те, двое, все бродят окрест.  
Но над всей этой пустошью, видимо, есть кто-то третий,  
потому что опять в гулах вьюги ты слышишь оркестр,  
потому что зовут колокольни, и звездные Рыбы  
к Водолею плывут. И отечество здесь и не здесь.  
Потому, наконец, что он есть у тебя, этот выбор,  
что бы ни было там, но ты знаешь, он все-таки есть.



Человек эмигрирует вдаль,  
в невозвратную пустошь, в державу  
без гражданств и границ. И февраль,  
словно нарочный. Слышишь, ли? — Аве —  
в каждом шорохе снега, что в снег  
осыпается благостно, с негой.  
— Аве, аве тебе, человек,  
август шепчет, а может быть, некто,  
там, в потемках, разверзнувший пасть,  
ожидающий встречи ab ovo.  
Кто прообраз, чей ты копираст,  
человек — в каждом жесте, пословно  
и построчно? Ты, будто в бреду,  
жечь пытаешься зябким глаголом,  
то сдыхая под чью-то дуду,  
то дудя несусветное. Голем,  
Голем глиняной сучит ногой  
в такт дуде и гремящей повозке.  
Человек призывается в строй  
новобранцев последнего войска.

В чистом поле привидится свет,  
вслед обрушится тьмы привиденье.  
Но ничто, ни единый предмет  
здесь не может отбрасывать тени.  
Все смешалось, и как ни играй  
марш Славянки — отчаянно, строго,  
но повозка несется за край,  
скорый мчит по железной дороге.

Пассажиры, СВ и плацкарт,  
все, как есть, как один, от начала  
дней своих эмигрируют в град  
с темным именем — то ли Валгалла,  
то ли Тартар какой... Никому  
не известны маршрут, расписание  
в эту белую пустошь, во тьму.  
Поезд мчится, уносятся сани.  
Человек исчезает, и с ним  
вся вселенная неотвратимо  
тает, гаснет. Отечества дым  
с паровозным мешается дымом.

Кем ты явишься, путник, домой,  
перелетным подхваченный ветром?  
Чем ты будешь — беспамятной тьмой,  
неизбывным взыскующим светом?



Раскидистое дерево — багряник,  
развесистый кустарник — бересклет.  
Дай, родина, отведай мятный пряник,  
а кнут уже изведен с малых лет.  
Потешь до крови битого, побалууй,  
сведи с ума и вытрезви потом.  
По кромке моря пес несется алый,  
и слизывает небо языком.  
И ты вот так же мчишься, угорелый —  
по самой кромке, вывалив язык.  
Какое, породнившись, горе ело  
тебя всю жизнь? Когда же ты постиг,  
почуял правду страшную, смешную?  
В тебе с рожденья карлицей рябой  
пирует смерть нелепая, ошую  
архангел страха с грозною трубой.  
Но что тебе до них теперь, по грани  
бегущему чудному зверю вслед?  
Раскидистое дерево багряник,  
развесистый кустарник бересклет,  
и терпкая трава полынь, и ветер,  
запутавшийся в цепких листьях трав...  
Все то, что было, все, что есть на свете  
лишь краткий сон бегущего стремглав.  
Нет ничего, ни родины, ни горя,  
избыта боль, развеян смертный страх.  
Лишь алый пес бежит по кромке моря,  
и ты бежишь в закатных небесах.



И послышится детство. Замрешь, отомрешь и запишешь:  
мама мыла... и вспомнишь: Пиноккио, Пух, Айболит...  
Но слова ускользают, становятся глуше и тише,  
не закончив строки, постарев, нажимаешь «delete».  
Что ж, опять не случилось ни чуда, ни вести, ни действия.  
Онемевшая память подобна пустынной зиме.  
Незапамятный снег предрождественским призраком детства  
сыплет с темных небес и приют не найдет на земле.

Кто нашептывал жизнь, что за космос в зазор под дверями  
начинал проникать, отчего так лепились к окну  
ветви древних деревьев, и о чем так упрямо по раме  
все скорбели-скребли? Не о том ли, как много лакун  
в речи времени — там, где, почуяв черту эпилога,  
ищет имя оно, роясь в пухлом талмуде утрат,  
отдалявших тебя от любимой, от друга, от Бога,  
что возделывал свет — занебесной лозы виноград.

Комом в горле слова встали, мертвую хваткой сцепившись.  
Вся отвага твоя в прошлогодний зарыта сугроб.  
Слышишь, как тишина заглушает гвалт пирровых пиршеств,  
новогодний бедлам, интернетный развесистый треп?  
Но, качнув небеса, прекратив поножовщину молний  
и в довесок подачу холодной войны — по весне,  
соскользнув по лучу, прикоснется к раскрытым ладоням  
тот, кого ты искал в предрождественском путаном сне.



Всегда больной вопрос — а судьи кто?  
Я сам их видел — это люди в черном.  
Я с ними пил, рядясь елейным чертом —  
чужой среди своих, я конь в пальто  
среди манкуртов в мантиях, среди  
слуг Плутоса и вечного Обкома...  
А у Фемиды снова глаукома,  
ей не до смертных, ей не до судьи,  
торжественно прошествовавшей в зал,  
где ждут закланья жертвенные овцы.  
Какую правосудия торговцы  
назначат цену? Если бы я знал!  
Какую будут истину искать  
глашатаи судьбы и приговора?  
Конечно, вор легко почует вора,  
тем более, когда вору под стать  
друг другу, но от этого исход  
затеянной стряпни ясней не станет.

Ну, кто ж посмеет прикоснуться к тайне  
их комнат совещательных? И вот  
опять свершится таинство сие.  
Спасибо всем, участвовавшим в фарсе!  
Уходят лицедеи восвояси,  
и я пойду над пропастью в овсе.

## Осени

Ты в сумерках схваченных глазах  
несешь ее. Как с писаною торбой  
с ней носишься, запутавшись в азах  
ее науки благостной и скорбной.  
Она тебе как будто впору, но  
почти истлело влажное веретъе.  
— Все хорошо, — безбожно врет вино.  
— Все так, как есть, — настаивает ветер.

Что ж, снашивай свой ветхий гардероб  
да собирай нехитрые пожитки —  
тщету и сор случайных слов и проб,  
в неближний путь. Но все же, от прожилки,  
светящейся, как лучик на виске  
заснувшей рядом женщины, до самой  
укромной тьмы — весь мир на волоске  
висит твоей *иллюзией* упрямой.

Нет, не висит, он в небо забытья  
уже несом легко, непоправимо.  
Ты сам себе в нем цезарь и судья.  
Такой, как есть — пропащий и счастливый.



С отчаяньем последних бунтарей  
из всех прорех небесного ковчега  
сквозит, сквозит, кромсая свет, борей.  
Был человек, не стало человека.  
Ты галочку поставишь, не застав  
кого-то, кто в забытом захолустье  
знал бормотанья ветра наизусть, и  
озябшим горлом пробовал состав  
бессвязной этой речи — череду  
фонем, лакун, глаголов, отрицаний,  
заговорить пытаюсь черноту,  
гремящую навстречу. Но лица не  
закроешь, не упрячешь от нее.

И чье-то место в сквере, под листвою,  
что треплет ветер, тут же пустою  
затянется. И нитями тенет  
рачительный вселенский арахнид  
вновь примется латать худые сферы.  
Вчерашний воздух даже хоронить  
не требуется вовсе. Веры, веры! —  
почуяв человеческое вдруг  
в самом себе, заладит ветер, роя  
кромешный свет с летучей мошкарою,  
очерчивая свой бессчетный круг:  
больничный сквер, часовня и погост,  
и присный рай у пристани рыбацкой,  
где тихий постоялец, грустный гость,  
борею доверяя все по-братски,  
рассказывал себя. В какую тьму  
сметен он в одночасье? — нет ответа.  
И даже вездесущий ветер этот,  
и он не сторож брату своему...



Смолк прибой. Ветер краток, кроток  
над тягучей толщей воды —  
будто призрак из Кариота  
в лоб целует тебя, и ты  
в топком небе все ищешь берег,  
упиваясь последним днем,  
над корзинкой цветков герберы  
все стрекочешь чудным сверчком,  
жить торопишься, все предвидишь —  
потому и мгновенье длишь,  
вспоминаешь прабабкин идиш  
и стишков тарабарский, лишь  
не запомнишь, какой ты веры  
и каких небес звездочет...  
В быстрых сумерках над герберой  
время замерло... жизнь течет...

